

Чеслав Горбачевский

Темы памяти и возмездия в Надгробном слове В. Шаламова и в Колымской балладе В. Португалова

Acta Neophilologica 18/2, 195-201

2016

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach
dozwolonego użytku.

Чеслав Горбачевский

Кафедра русского языка и литературы

Южно-Уральский государственный университет Челябинск

ТЕМЫ ПАМЯТИ И ВОЗМЕЗДИЯ
В *НАДГРОБНОМ СЛОВЕ* В. ШАЛАМОВА
И В *КОЛЫМСКОЙ БАЛЛАДЕ*
В. ПОРТУГАЛОВА

Key words: Kolyma, theme of memory, narrator, semantic field

В основе рассказа Варлама Шаламова *Надгробное слово* (1960, опубл. в 1988 году) лежит ключевой для всего творчества писателя образ памяти. Рассказчик писателя отдаёт дань памяти погибшим колымским солагерникам, вспоминая их поименно, и произносит каждому из них надгробное слово, своего рода эпитафию, хотя могил в человеческом понимании этого слова для большей части заключённых на Колыме не предполагалось. Всего рассказчик описывает двенадцать смертей, которым соответствуют двенадцать кратких историй жизни и смерти каждого из колымских мучеников. Лишь в отношении одного из двенадцати оставались сомнения: «Умер ли Володя Добровольцев, пойнтист?» [Шаламов 1998, 378].

О тех немногочисленных каторжанах, которым удалось вопреки обстоятельствам выжить, говорится в финальной части рассказа, когда в рождественский вечер заключённые сидят у печки-бочки, греются и разговаривают друг с другом. Настроение у всех по случаю праздника, а особенно по случаю нахождения рядом с тёплой печкой, необычное для этих мест – вполне лирическое. Все они мечтают о несбыточном – возвращении домой и о том, что будут делать дома, когда вернутся. Их мысли свидетельство того, в какой степени Колыма за годы заключения деформировала сознание подневольного человека и его представления о смысле бытия. Так, коногон Глебов, в прежней долагерной жизни профессор философии, забыл имя собственной жены, впрочем, этому здесь никто не удивляется. Рассказчик, т. е. один из участников разговора, выражает сомнения по поводу того, что

по возвращении ближние в состоянии будут их понять: «То, что им кажется важным, – я знаю, что это пустяк. То, что важно мне – то немного, что у меня осталось, – ни понять, ни почувствовать им не дано» [Шаламов 1998, 380]. И это вовсе не звучит как осуждение, поскольку «лагерный опыт – целиком отрицательный, до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек» [Шаламов 1998, 425-426]. Парадоксальная на первый взгляд мысль рассказчика о том, что «тюрьма – это свобода» [Шаламов 1998, 380], в лагере таковой вовсе не кажется. Тюрьма оказалась ближе не к лагерю, а к дому, ведь в тюрьме заключённые были относительно свободны, и там не было убивающей лагерной работы: «Это единственное место (т. е. тюрьма), которое я знаю, где люди не боясь говорили всё, что они думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен» [Шаламов 1998, 380]. Разумеется, и там люди страдали, поскольку в тюрьме «каждый час существования осмыслен», т. е. увиден под другим, запроволочным углом зрения. Правда, с тюрьмой, как с местом, где арестанты «отдыхают душой» не согласен персонаж, забывший имя собственной жены: «– Ну, замолол (...). Это потому, что тебя на следствии не били. А кто прошёл через метод номер три, те другого мнения» [Шаламов 1998, 380]. И он, безусловно, прав – границы «тюремной свободы» в предвоенные годы были разными.

Но вернёмся к мыслям персонажей рассказа *Надгробное слово*. Бывший директор уральского треста Пётр Иванович Тимофеев мечтает дома досыта поест. Трудолюбивый когда-то в прежней крестьянской жизни забойщик бригады Звонков в лагере окончательно разлюбил труд. Дневальный барака сразу по возвращении мечтает пойти в райком партии, но вовсе не с жалобами на жестокие лагерные порядки, что могло бы привести к новому сроку, причина здесь в другом: «Там, я помню, окурков бывало на полу – бездна» [Шаламов 1998, 380]. Есть своё заветное желание и у Володи Добровольцева, ставшее кульминацией всему сказанному: «– А я (...) хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашёл в себе силу плюнуть им в рожу за всё, что они делают с нами» [Шаламов 1998, 381]. Мысли Володи Добровольцева типологически родственны словам лирического героя стихотворения Шаламова *Желание*, в которых явственно звучит не только отношение к иллюзорной красоте этого мира на фоне абсурдной жестокости, но и к тем, кто отправлял людей на нечеловеческие муки и смерть в колымские лагеря, кто издевался над людьми на Колыме:

Я хотел бы так немного!
Я хотел бы быть обрубком,
Человеческим обрубком...

Отмороженные руки,
Отмороженные ноги...
Жить бы стало очень смело
Укороченное тело.

Я б собрал слюну во рту,
Я бы плюнул в красоту,
В омерзительную рожу.

На её подобье Божье
Не молился б человек,
Помнящий лицо калек...
[Шаламов 1998, 191]

Мысли о родном доме вымораживались из памяти каторжан на протяжении долгих лет запроволочной колымской повседневности. Плохо приспособленные когда-то к лагерным условиям люди через многие годы заключения, оказались столь же неприспособленными к жизни в новых «вольных» условиях, поскольку окружающий мир не готов был принять их в свои ряды.

В *Надгробном слове* композиционный повтор семантической конструкции «Умер (...)» акцентирует внимание читателя на бесчисленных смертях бесправных людей на Колыме: «Следствием подобных повторов становится замедление внутреннего развития текста. (...) Построенный таким образом текст можно расчленять на части и читать в ином порядке; можно также по одной части понять приблизительный смысл целого» [Бартминьский 2005, 414]. Наум Лейдерман, обративший внимание на контаминацию в *Надгробном слове* двух жанров, собственно надгробного слова и рождественской сказки, отмечал, что «(...) надгробное слово становится обвинительным заключением, а рождественская сказка превращается в приговор (...) политическому режиму, создавшему ГУЛАГ, приговор к высшей мере человеческого презрения» [Лейдерман 2005, 238]. Эта «высшая мера» явственно звучит и в *Надгробном слове*, и в *Желании*, и в ряде других текстов Шаламова.

Созданная на документальной основе в 1938 году, но опубликованная лишь спустя полвека лиро-эпическая *Колымская баллада* Валентина Португалова наделена в высшей степени суггестивными качествами настолько правдиво, убедительно и проникновенно звучат её строки о многих тысячах садистски уничтоженных на Колыме людей.

С помощью анафорического рефрена в балладе Португалова выстраивается восходящая градация, которая превращает реальность в зрительно-осязаемую: «Несчастен тот, кто в двадцать лет / Попал на Колыму (...)», «Несчастен тот, кто в тридцать лет / Попал на Колыму (...)», «Несчастен тот, кто в сорок лет / Попал на Колыму (...)». Кульминацией описания становятся «мальчишки в семнадцать лет» и «старцы под семьдесят» [Португалов 2005, 342-344], которым уже никогда отсюда не выбраться.

На самом же деле шансов на выживание и для более сильных (двадцати, тридцати и сорокалетних) каторжан здесь не многим больше – Колыма не щадит никого. Двадцатилетним заключённым ветер баллады как будто говорит: «Это гибель твоя, человек». Тридцатилетний зэка, у которого нет ни хлеба («не жрал четыре дня»), ни огня превращён в полуживой скелет. Сорокалетний каторжанин, оторванный от семьи, слышит лишь пурги и тайги «сумасшедший бред». Все эти подневольные люди окажутся на краю гибели и многие эту черту переступят.

Умерших мучеников предадут земле, но не по-человечески, как это принято в нормальном обществе, а по законам тайги – так, как и полагается хоронить «врагов народа». Так тысячи и тысячи убиенных невольников окажутся обречёнными на то, чтобы ждать Судного дня в вечной мерзлоте:

(...) Им даже не выроят здесь могил
И не поставят кресты,
И будут покоиться они
Средь вечной мерзлоты. (...)

Настоящие гробы, которые упоминаются в балладе, – это признак другой, более благополучной, оставшейся далеко на материке жизни. В балладе Португалова гробы символические, иноприродные колымскому inferнальному миру с его смещёнными человеческими масштабами:

(...) Но когда архангела труба
Протрубит Господен Суд,
Они повернутся в своих гробах,
Поднимутся и пойдут.
Они пойдут по холодной земле,
По сопкам и по снегам,
Грозя обескровленными кулаками
Своим далёким врагам. (...)

Первая половина (четыре строфы) баллады Португалова – свидетельство очевидца о колымском аде. Вторая её половина обращена к библейской теме Возмездия и Страшного Суда за те нечеловеческие страдания, которые пришлось на долю пригнанных на Колыму тысяч и тысяч заключённых. По мысли автора, даже на «Господнем Суде», *iudicium universale* («все-ленском суде») не может быть прощения тем, кто участвовал в истязаниях и уничтожении колымских заключённых и тем, кто отдавал приказы с Большой земли («далёкие враги») убивать людей. Преступления настолько ужасны, что Бог баллады не в силах этого простить: «(...) – Я всё прощал, / Но этого – / Не прощу (...)».

Рефреном звучит не последняя строка в каждой строфе, как это принято, например, в классической французской балладе, а первая в трёх начальных строфах (уже упоминавшийся зачин «несчастен тот, кто (...)»), а в четвёртой – с усилением («но всех несчастней (...)»).

В балладе противопоставлены два семантических поля: одно – со значением света, олицетворявшего прошлую доколымскую жизнь на материке (т. е. дома), другое – со значением тьмы и невыносимыми для подневольного человека условиями существования северной каторги. Первое тематическое поле, обращённое в прошлое, включает в себя положительные мотивы и образы (и в первую очередь мотив света): «большой Любви ярчайший свет»; «бессмертной Славы ярчайший свет»; «семейного Счастья ровный свет». Ключевые слова (Любовь, Слава и Счастье) маркированы прописными буквами и акцентируют внимание, с одной стороны, на их особом статусе, а с другой, – на их иноприродности, зыбкости на фоне колымской «изнанки бытия».

Иноприродность Любви, Славы и Счастья подчёркивается вторым семантическим полем, которое акцентирует внимание на драматической антиномии баллады: «кругом только сопки да снег»; «славы нет, и хлеба нет, / И даже нет огня»; «шурга замечает след»; «могила», «вечная мерзлота», «холодная земля», «горсть проклятой колымской земли», «лютый мороз» и др. Очевидно, что трагическую ситуацию усиливают синтаксические конструкции, описывающие человеческие страдания: «гибель твоя, человек»; «ты, похожий на скелет»; «возврата отсюда – нет»; «убили в нас кровь и плоть»; «Они добивали, как могли, / Слабых и больных. / Зимой выгоняли в ночь, в пургу, / Старцев с глазами, полными слёз, / Голыми ставили на снегу / В самый лютый мороз»; «тысячи рук / Израненных и худых» и др.

Инфернальное северное пространство, по которому однажды пойдут воскресшие колымские заключённые, – это та «холодная земля», «сопки» и «снега», где они мучились и погибали. По сути автор баллады говорит о том, что целенаправленное массовое уничтожение людей¹ не может иметь срока давности – мысль для многих современников поэта неочевидная.

Возвращаясь к Шаламову, скажем, что в рассказе *По лэндлизу* (1965) представлено одно из описаний колымского кладбища заключённых (об обряде похорон на Колыме см. его же рассказ *Тётя Поля* (1958) [Шаламов 1998, 96], в котором, как и у Португалова, речь идёт о нетленности колымских мертвецов, как бы ставших «заложными покойниками», умершими не своей смертью, не принимаемыми землёй, нетленными [Виноградова 1995, 186-187]. Нетленность эту следует понимать как в прямом, так и в переносном и символическом смыслах. Забытые колымские мертвецы Португалова однажды напомнят о себе («они пойдут по холодной земле»).

¹ В 1938 году начальник прииска *Утиный* Зарубайло, зачитывая списки расстрелянных, произносил пламенные патриотические – в весьма специфическом значении – речи, смысл которых сводился к следующему: «(...) вы враги народа и вас привезли сюда уничтожать, я это сделаю при помощи социально-близких, исправленных элементов, они помогут. Под социально-близкими он понимал уголовников, и они помогали изо всех сил» [Яроцкий 2003, 114].

В рассказе Шаламова *По лендлизу* человеческие тела ползут по склону²: «Могила, арестантская общая могила, каменная яма, доверху набитая *нетленными мертвецами* ещё в тридцать восьмом году, осыпалась. Мертвецы ползли по склону горы, открывая колымскую тайну. (...) Каждый из наших близких, погибших на Колыме, – каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом – *может быть ещё опознан* – хоть через десятки лет. На Колыме не было газовых печей. *Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте.* (...) Эти могилы, огромные каменные ямы, доверху были заполнены мертвецами. *Нетленные мертвецы*, голые скелеты, обтянутые кожей, грязной, расчёсанной, искусанной вшами кожей. (...) Раскрылась земля, показывая свои подземные кладовые, ибо в подземных кладовых Колымы не только золото, не только олово, не только вольфрам, не только уран, но и *нетленные человеческие тела*. Эти *человеческие тела ползли по склону, может быть собираясь воскреснуть.* (...) Сейчас гора была оголена и тайна горы открыта. *Могила разверзлась, и мертвецы ползли по каменному склону.* (...) Бульдозер сгребал эти окоченевшие трупы, тысячи трупов, тысячи скелетоподобных мертвецов. *Всё было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног – культы после обморожений, расчёсанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза»* [Шаламов 1998, 355–356]. Мертвецы, описанные Шаламовым, немногим отличаются от пока ещё живых скелетоподобных колымских доходяг с их обморожениями, расчёсанной в кровь сухой кожей и горящим голодным блеском глаз. Так оказалось, что для многих бесправных людей на Колыме граница между живым и загробным мирами размылась, почти перестала существовать.

Таким образом, тема памяти о преступлениях периода строительства колымского социализма и возмездия за эти преступления отчётливо звучит в текстах Варлама Шаламова и Валентина Португалова, которые прошли через все круги колымского ада 1937-го и последующих годов.

Библиография

- Бартминьский Ежи. 2005. *Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике*. Москва: Индрик.
- Виноградова Людмила. 1995. *Заложные покойники*. В: *Славянская мифология. Энциклопедический словарь*. Москва: Эллис Лак: 186-188.
- Лейдерман Наум. 2005. *С веком наравне...* Санкт-Петербург: Златоуст.
- Португалов Валентин. 2005. *Колымская баллада*. В: *Поэзия узников ГУЛага: Антология*. Сост. Виленский С. Москва: МФД Материк. 342-344.

² Повествователь Шаламова не ждёт от колымских мертвецов воскрешения, но их трагические смерти – связующая нить между небытием и памятью о преступлениях 1938 года.

Шаламов Варлам. 1998. *Собрание сочинений*. Т. 1-3. Москва: Художественная литература.

Яроцкий Алексей. 2003. *Золотая Колыма*. Железнодорожный: РУПАП.

Summary

MEMORY AND RETRIBUTION THEMES IN *THE EPITAPH* BY VARLAM SHALAMOV AND *THE KOLYMA BALLAD* BY VALENTINE PORTUGALOV

This article discusses the themes of memory and retribution in documentary and literary texts (different genres) of two Kolyma inmates. The memory theme of the people tortured in “Kolyma planet” unites texts written by Shalamov and Portugalov. Both authors express similar thoughts in different ways, employing different genres and styles. Shalamov and Portugalov are convinced that these crimes, i.e., deaths of a great number of innocent people in Kolyma forced labour camps can never be forgotten, unpunished and treated as if the “facts never happened”.

Kontakt z Autorem:
cheslavgor@gmail.com